Итог

Автор:
Михаил Замский

Итог

Михаил Аронович Замский

О чем эта книга? Если коротко – о душе. О той затененной, затаенной стороне нашей жизни, без которой жизнь теряет смысл, и с которой ох,как не просто! И еще – о неразрывной связи всего живого на Земле. А вообще – о жизни. Такой непростой, единственной, неповторимой и все равно прекрасной несмотря ни на что.

Итог

Миниатюры

Аура

Слишком теплый даже для этого уголка Средиземноморья декабрьский денек подходил к концу. Огромный, все еще пылающий диск Солнца, казалось, завис над не слишком уж отдаленными деревьями. И все, на что падали его подуставшие за день лучи, казалось таким же красивым и немного печальным.

“Дети Солнца”, – подумал старик. Кажется, есть у Горького такая пьеса. Не тал, но как же красиво звучит! И как верно! Ведь все мы и вправду его дети, хоть

редко это осознаем и еще реже чувствуем. Старик задумался. Снова вернулось то, о чем думал в последнее время. Почему люди такие разные? Почему одним достаточно повседневного, житейского, в разных вариантах, по сути, одного и того же, со всеми его радостями, горестями, заботами, утомительным разнообразием суеты, а другим нужно что-то еще и без этого еще они не могут жить?

“Да вот этого всего, что вокруг”, – сам себе ответил старик. “Неба, солнца, воздуха, ветра, каждого дерева, каждой травинки, каждого сосредоточенно и деловито куда-то ползущего муравья, этого, непонятно откуда взявшегося чувства, что ты не сам по себе, а, вот именно, частица, капелька всего этого огромного мира вокруг тебя и в тебе самом в том числе. Вспомнилось Киплинга: ”Мы одной крови”. С некоторого времени он это чувствовал, знал, был уверен. Особенно сильно он это чувствовал вечерами, когда уходил свет дня, и все, что оставалось, становилось ближе, роднее, больше твоим, личным, как будто жалось к тебе, искало защиты.

Поздний вечер ближе к полуночи. Почти безлюдная улица в свете фонарей, темные лишь кое-где освещенные громады домов, безветрие… Казалось, какая-то ласковая аура окутывала все вокруг, проникала в душу. Хотелось прикоснуться к листьям, доверчиво протягивающим к нему свои ладошки, погладить, сказать им что-то ласковое, успокаивающее, как ребенку. Казалось они понимают, слушают, не боятся. “Мы ведь одной крови. Ты ведь свой.”

Закат догорал. Все больше и больше темнело небо. Зажглись фонари. Стало прохладнее. Привычно набрав код, старик вошел в подъезд. Многоклеточный, живой, 15-ти этажный дом жил своей жизнью. Почему-то он ему казался большим кораблем. Мужчины, женщины, дети. Разные люди, разные судьбы. Большой Ноев ковчег, плывущий куда-то в неведомое, бог знает чему навстречу, в то, что знать не дано, в то, что называется будущее. Неизбежно, неотвратимо. Все дальше, дальше, дальше…

В сквере

Скамейка в сквере напротив дома. Передо мной детская площадка. Она еще почти пуста. Дети приходят чуть позже. Чуть поникшая усталая листва от

длинного, слишком длинного жаркого лета, просвеченная не слишком ярким, почти предзакатным солнцем. Ветерок неторопливо качает ветви пальм то чуть быстрее, то вновь помедленнее, как будто в ритме старинного вальса или другого, но тоже старинного танца. Порой раздается громкий требовательный писк, похожий на писк голодного птенца. А небо чистое, чистое с уже начинающей чуть темнеть голубизной. Но…стоп! Появилось облако. Оно плывет медленно, медленно, как будто подстраиваясь под неторопливость еще тихого сквера, пустующей пока детской площадки, предзакатного неба, старинного вальса пальмовых ветвей. И правильно, облако. Так и надо. Не спеши. Жизнь и так слишком тороплива.

Но вот уже пришли дети. И детская площадка уже полна их голосами. И качели уже не пустуют. Вверх-вниз, вверх-вниз, выше, выше, еще выше! Вечный маятник жизни И все как будто наполнилось этой музыкой, слилось все вместе: сквер, предзакатное небо, детские голоса, старинный вальс пальмовых ветвей под теплым, ласковым ветром. Остаться бы, слиться бы со всем этим, забыться. Но мне пора. Надо уходить, расстаться с этим сладким забытьем. Ведь меня ждет жизнь. Жизнь? Какая ирония, в сущности!

Зал ожидания

Старость. Что это такое? Безвременье? Другое измерение? По мне, это, скорее, зал ожидания. Просторный, даже комфортный порой. Все предусмотрено: еда, кров, даже развлечения. Не тюрьма, не клетка. Выходи, приходи, когда вздумается. Но ты все равно внутри, в этом зале.

Все ждут свой поезд. Не известно, когда он придет. Нет расписаний. Но поезд этот только за тобой и без тебя он не уедет. И ты ждешь. Вот уже нет рядом твоего соседа. Вчера он уехал. Вы даже не успели проститься. А поезда приходят и уходят. Обязательно приходят и обязательно уходят. Куда? Откуда? Ведь не могут же они приходить из никуда и уходить в никуда?

Порой ты выходишь в город. Странно. Тебе как будто знакомы эти улицы, площади, эти люди Ты разговариваешь с ними. Ты понимаешь их речь, они твою. Они приветливы, даже заботливы. Но невидимая стена отделяет тебя от них. Ведь твое место в зале ожидания, а их нет. Они куда-то спешат, чем-то

озабочены, их поезда идут по расписанию. Ты гость. Они нет. И ты возвращаешься в свой, ставший твоим временным домом, зал ожидания. Тебе приветливо улыбаются, ставшие почти родными люди, ждущие, как и ты, свой поезд. Жизнь продолжается. Поезд еще не пришел. Все еще впереди.

Лебединая песня

В сущности, старость его вполне устраивала. И не потому, что, наконец, сбылось то, о чем мечтал. И не потому, что освободила от службы, которую скорей не любил, чем любил. Все это осталось где-то далеко позади, все больше и больше расплываясь в памяти, уходя в прошлое все дальше и дальше, как уходит берег, становясь все меньше и меньше, превращаясь в полоску, точечку, исчезая. И только вода, вода, вода и ничего кроме.

– А потому устраивает, – вернулся старик к прежней мысли, – что теперь у него есть время. Не так, чтобы очень. Скромно, но есть. Зачем? Ну хотя бы затем, чтобы просто ходить по знакомым улицам, которые, как ни странно, не надоедают, ни о чем, казалось бы, не думая, а на самом деле о тысяче разных вещей, которые, бог знает почему, приходят в голову.

Вот и сегодня. Почему-то о лебединой песне. Почему лебедь обрывает жизнь? Почему не может без подруги? Почему выбирает смерть? Ведь парами живут не только лебеди. “Так природа захотела”-не ответ. На уровне инстинкта? Да, но есть ведь еще инстинкт самосохранения. Почему не срабатывает? А у людей? Случается. Тогда – Ромео и Джульетта. Но это скорее исключение. Как правило живут. Выходит, жизнь значит все-таки больше.

А может потому, что любви у людей больше? Самой разной: к ребенку, к матери, работе, Богу, наконец. И еще тысячи разных прочих, маленьких, больших.

А день был прекрасным, по-летнему теплым, солнечным, голубым, зеленым, упорно не совпадающим с декабрем. – Как все на свете, – подумал старик. Пора было возвращаться.

Мираж

Уже давно каждое утро начиналось одинаково. Мучительно не хотелось вставать. Ведь впереди был еще один ненужный день, которых и так уже было слишком много. И тогда он начинал вспоминать то хорошее, счастливое, что все-таки было в его жизни, не могло не быть. И всегда это было одно и то же, и всегда до обидного мало. И всегда все начиналось с детства.

Вот первое. Ему еще только четыре, а может пять лет. Еще война, эвакуация, Казахстан. Смутно, очень смутно – пронизанная солнцем, звенящая, плещущая вода арыка. Не было для него тогда ничего прекраснее на свете. Он убегал туда при каждом удобном случае. Однажды даже запертым. Через форточку. Потом, когда его нашли, никто не мог понять, как ему это удалось.

Вот второе. Все еще детство. Ему лет шесть-семь. Крым. Ялта. Они переехали туда санитарным поездом. Раненых перевозили в Крым. Мать работала в госпитале. Самые его лучшие, самые счастливые два года.

Огромный, как ему казалось, двор со множеством потайных местечек, где можно было спрятаться, если тебя ищут, зовут. Такая же, как он ребятня. Это была их территория, только их и ничья другая. Можно было носиться по двору с утра до вечера, можно было, зацепившись коленками за ветку, повиснуть вниз головой. Было совсем невысоко и совсем не страшно. Можно было незаметно выскочить во двор из задней комнаты так чтобы бабушка не заметила. Ведь окно было на уровне земли. Они тогда были только вдвоем. Мать уехала отвоевывать занятую квартиру в городе, где они жили до войны.

Вечером раздавался бабушкин крик: “Миши! Миши!”(падежей бабушка не признавала). Он слышал, но не отзывался. А потом ему становилось её жалко, и он возвращался. И еще. Рядом было море. Самое прекрасное на свете Черное море. Совсем рядом. Свернуть за угол Виноградной, чуть-чуть по Морской и вот уже набережная. Он часто думал: почему не чувствовал себя тогда счастливым? Потом понял. Господи! Да он даже не знал тогда этого слова. Просто он был частью всего этого. Этого солнца, неба, моря, деревьев, травы, кузнечиков, которых так любил ловить, а потом, наигравшись, отпускал, и многого чего другого, чего даже не знал. Просто знал, что оно есть, что оно где-то близко, рядом. И еще чего-то огромного, неведомого, таинственного за пределами двора, за нестрашным своим королевством. Потом он понял. Еще не было

отдельного я и остальное. В этом было все дело. Счастье, полное счастье бывает только тогда. А потом только иногда. Редкое, пугливое, тревожное, ненадежное.

Вспомнился рассказ Брэдбери.

Трое американцев застряли в пустыне. Сломался старый пикап. Неожиданно один из них увидел мираж. Прекрасный, сказочной красоты город. Самое интересное – мираж не исчезал ни на следующий день, ни потом. Он вообще не исчезал. Тогда они прибили табличку и написали на ней: “Город счастья”.Ведь счастье так похоже на мираж. Оказалось, можно застолбить даже мираж. Но ведь счастье все-таки не мираж. Только похоже. Не более.

А вставать все не хотелось. Ведь предстоял еще один ненужный день, которых и так уже было слишком много.

Туман

Сегодня он тосковал. Собственно, с ним это случалось часто, слишком часто, точнее, почти всегда, невидимой тенью сопровождая его, где бы он ни был. По сути, с детства. С тех самых пор, как ощутил себя чем-то отдельным от других. И это его отдельное никак не совпадало с общим. То ли не совпадал он, то ли оно. Но какое это имело значение?

Даже когда случалось то, о чем мечтал (чаще всего напрасно и долго), даже тогда все оборачивалось скукой и разочарованием, как картина маслом вблизи. Ну, не мог он жить суетой. Не мог и все. Нужно было что-то еще. Вернее даже наоборот. Сначала что-то еще (что именно он и сам толком не знал), а потом – ладно. Пусть будет то, что есть. Утренний туман почти рассеялся. День обещал быть прекрасным. Вспомнились другие туманы когда-то, давным-давно. Была какая-то связь с ними. Давняя, не случайная. Вспомнился Киев в морозной изморози туманов. Боже! Как он был прекрасен этот его город, может быть самый прекрасный город на свете. В тумане, в снегу, сверкающим под зимним солнцем, весной, осенью…Всегда. Город, в котором родился, в котором прожил всего-то семь лет, потом приезжал только в отпуск, да и то – на неделю не больше, потому что остальное время они проводили у моря. В Крыму, в Одессе. Сначала сами, а потом уже с малышом. Дикарем, конечно, как большинство.

А еще город был лучшим на свете (и это было главным)потому, что там жила мать. И тогда две любви сливались в одну и каждый день был праздником. И он все пил и пил эту любовь и никак не мог напиться. Ведь жизнь так скупа на любовь.

Уже за два дня до отъезда начиналась тоска. Начиналось прощание, полное щемящей грусти, и все равно прекрасное, потому что не бывает любви без грусти, как не бывает без нее ничего хорошего на земле. А потом целый год до следующего отпуска он тосковал, ждал, предвкушал и снова пил, пил эти дни, короткие как счастье. Старик очнулся. “О чем это я? Ведь я же хотел о туманах”. Задумался. Всплыло другое. Он был тогда на втором, а может на третьем курсе. В этом городе настоящих зим – снежных, морозных почти не было. На выходные раз в две недели она уезжала домой. Автобусом. Два часа туда, два обратно. А он неприкаянно бродил по улицам, не зная куда себя деть. Домой не хотелось. Да и какой дом? Угол.

Тогда и полюбил туманы. Подходили он этому городу, скорей, городку по сравнению с его столицей. Он ему нравился. Частица бывшей Австро-Венгрии, осколок старой Европы, не тронутый войной, живший, казалось, по инерции еще той довоенной привычной культурно-старомодной жизнью, где все знали всех, где идиш и немецкий звучали одинаково естественно, с обязательной центральной не проезжей улицей для гуляний, свиданий, кино. И он ходил взад и вперед по этой не слишком длинной, утонувшей в тумане улице. Казалось их было только двое. Он и туман. Туман и он. С ним было хорошо. Скрывал, защищал, слушал. Что-то выпевалось как-то само собой. Какие-то мелодии. Неплохие, между прочим, как ему казалось. Где-то посередине справа был винный погребок. Дешевый крепленый портвейн был ему вполне по средствам. Выпивал стакан. Выходил. Минут через десять становилось хорошо. Их – его и туман начинало качать. Мягко, легко, бережно. Все быстрее и быстрее. Им нравилось.

А потом он шел домой по тихим почти безлюдным улицам с редкими прохожими, на минутку возникающими и тут же исчезающими в тумане. Быстро, как проваливаясь куда-то засыпал. Досыпал на лекции на первой паре. Будили.

А потом он уже никогда не жил в городе. А любовь к туманам осталась. Он любил их всегда. Поздняя осень, промерзшее поле, туман, одиночество. Это было как раз то, что нужно. Позже, гораздо позже, уже в другой жизни, в другой

стране, где почти не бывает туманов, вспоминая, он напишет.

Я пройду полосой тумана, а потом дождя.

И поля будут тихо, странно, одиноко встречать меня.

А потом возвращусь я в город, где дома, дома…

А вокруг будет холод, холод и зима, зима.

И почему люди так не любят туманы?

Невидимка

Мошава Германит была уже вполне новогодней. Елка-вся в золоченых нитях, укутанная ими так густо, что видны были только контуры, была хороша. Гирлянды по обеим сторонам улицы, провисающие, как провода под тяжестью снега, тянулись ввысь к Бахайскому храму. Оживленные, казавшиеся в полусвете еще красивей, лица, детишки, серьезные, как все дети на свете с шариками на длинных, сверкающих нитях в тонких ручонках. И от того, что сами нити были в два-три раза длиннее их самих, казались еще милее и трогательнее. Никто его не замечал. Никому он не был нужен. Собственно, бродил не он. Бродила его душа, истосковавшаяся по людям, их речи, смеху, улыбкам, невидимая, ставшая частью этого вечера, очарованная, какой и должна быть душа.

Старик сидел, ел фисташковое на йогурте мороженое, смотрел на идущих мимо, на сидящих за столиками, о чем-то думал. Не сосредоточенно, рассеянно, почти бездумно. Сидел невидимкой (уйди, вернись – никто не заметит), частицей, капелькой, атмосферой. Ведь это так важно. Может быть важнее всего на свете. Что стоит мир без этого? Дергающиеся фигурки, как в старом, немом кино.

Давно было съедено мороженое, а он все сидел. Уходить не хотелось. Ведь так хорош был этот вечер, так легок, так неповторим. Ведь ничего, как известно, не повторяется.

Бахайский храм-самое популярное место в Хайфе, его визитная карточка. Потрясающий архитектурный комплекс, в который включены каскад великолепных садов. По решению ЮНЕСКО с 2008 года Бахайским садам присудили звание восьмого чуда света.

Мошава – поселение (иврит). Основана немецкими колонистами, когда Палестина входила в состав Турецкой (Оттоманской)империи. Теперь просто улица в нижней Хайфе.

Река

День выдался тихим, безветренным, безнадежно унылым. Грязно-серые, местами, почти черные тучи так обложили небо, что надеяться на какой-то просвет, нечего было и думать. Изредка накрапывал дождик. Лица встречных казались слишком серьезными, слишком деловыми, слишком озабоченными. Все в этот день было слишком. И может от того, что вот выдался такой день и еще от того, о чем не хотелось думать, казалось, что так будет всегда.

– Стихов бы, – подумал старик. Как давно он их не писал! С того самого дня, когда вдруг ясно и окончательно понял – не судьба. Ведь стихи пишут многие. Хорошие и даже очень хорошие, а поэтов единицы. В этом-то все и дело. И бросил.

А ведь сколько лет только ими и жил! Казалось само небо ему их посылало. И был счастлив, когда вдруг ложилось на бумагу всегда, как чудо, то, что долго искал, перерывая массу слов, забыв обо всем. Другие не понимали, чему тут радоваться, но какое ему было дело? Спешил, как будто знал – ненадолго. И вот бросил. А любовь осталась. Они были такие разные эти люди, пишущие стихи. Как и их стихи, впрочем. Мучительно-растревоженными, бесконечно ищущими, тоскующими, грустными, как сама жизнь. Казалось все цвета и оттенки человеческой души были в них. А, порой, такое утоленное, переполненное, как осенние яблоки соком, женское счастье было в них, и неутоленное, тоскующее тоже.

И была среди них одна. Он почему-то сравнивал ее с рекой. Чем-то ее стихи ему ее напоминали. Широкую, полноводную, никогда не мелеющую, как будто все на

свете ручьи и речонки, не скупясь, отдавали ей все, что имели. Она была нужна всем и все были нужны ей. Казалось ей было ничуть не трудно нести на себе тяжеленные пароходы и доверху груженые баржи, катера, лодки, узкие, как пироги, байдарки, мальчишек, бесстрашно заплывающих на самую середину поближе к пароходам, неба, несущихся облаков, осеннюю грусть туманов, чью-то песню на берегу, чей-то горячий шепот… И еще тысячи разных прочих вещей маленьких и больших. Это был ее мир, ее жизнь. А ночью она засыпала под тихий, убаюкивающий плеск воды и ей снились сны. Разные. Но чаще всего море. Большое-пребольшое, синее-пресинее, куда она все равно когда-нибудь доплывет.

Старик вздохнул. Погода не менялась. Снова подумалось о том, о чем думать не хотелось, и снова он отогнал от себя эту мысль. Слишком больно. Пора было возвращаться.

Фонарь

Проснулся. Рано. Еще, по сути, ночь, хотя достаточно светло в свете фонарей. Все как будто замерло. Все неподвижно, как заколдовано. Стоянка машин напоминает уснувший цыганский табор. Самый близкий к дому фонарь не похож на другие. Прямой какой-то, допотопный, как старый служака николаевских времен. Преданный, верный, слуга царю и Отечеству, бог знает каким ветром занесенный в ту, еще турецкую Палестину, да так и оставшийся. Чужой и ненужный ни там, ни здесь. И как будто слышишь, как он вздыхает и как бормочет: ”Слушаюсь, рад стараться Ваше Благородие, не извольте беспокоится” и тому подобное.

Вот через полчаса он потушит фонарь. Куда пойдет старый служака? Что он будет делать до вечера? Может ляжет спать и приснится ему снежок, порхающий вокруг фонаря. Питерский, московский или еще какой-нибудь российский? А может выпьет водки, закусит соленым огурцом и станет легче. А то тоска, тоска…

Очарованность

Очарованность души, романтика. Почему-то захотелось вдруг поговорить об этом, повспоминать, поделиться. Начну с детства. Все мы ведь оттуда.

Детство, мое детство. Сказать по правде-счастливым я бы его не назвал. Робким оно было зажатым. Вы скажите: дитя войны. Без отца тем более. Но, знаете, все мы были, в общем, дети войны. Да и без отца были многие. И тем не менее…

Особенно плохо было в школе. Во дворе было иначе. Два-три приятеля. Я даже верховодил. А друзей по-настоящему не было. Характер ли был тому виной, фатальная ли моя обреченность на одиночество? Кто знает? Зато были книги. И была мечта – уехать куда-нибудь подальше и там, в институте уж точно начнется совсем другая, настоящая жизнь.

Помнится, где-то в пятом-шестом классе подарили мне на день рождения “Два капитана” Каверина. Боже! Как много значила для меня эта книга! Ведь в детстве так нужен идеал. Теперь он у меня был. Вы скажите – детство, романтика. Может быть. Но скажите: “Бороться, искать, найти, не сдаваться” это детство? Вы уверены? А я вот думаю, что по-другому жить нельзя, если не хочешь презирать себя потом.

А вот очарованность пришла позже, после первого курса, летом, на каникулах.

Измученный, влюбленный, не знающий куда себя деть, слоняющийся лениво, бессмысленно из угла в угол, считающий дни. Казалось это лето никогда не кончится. И, вот, тогда как-то на пляже, от скуки раскрыл я томик Паустовского и пропал, и уже не мог оторваться, и заболел, или полюбил (выбирайте что хотите0 на всю жизнь. Вот на вскидку немного. Большинство читало, конечно. Просто напомнить, оживить…

Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами. Туман стоит зеленой морской водой. Рыжая осень осыпается в переулках и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям.

Чехов писал за простым письменным столом. Светила лампа с зеленым абажуром. Пальцы его холодели от спокойной жалости к людям. Мохнатые зимы, бубенцы, смешная нелепость старой России и, как стон скрытой тоски, песни цыган из Яра.

Мы расходились по домам. А снег все падал и падал. Пылали щеки. Молодое и пылкое наше счастье бежало наперегонки с нами по скользким тротуарам, провожало нас, долго не давало заснуть. Оно мигало на стенах. Оно сыпалось на землю ворохами снега. Оно пело всю ночь сквозь теплый сон свою вечную песню о любви и печали.

Скажите, что может быть прекраснее? И, вот, с этих самых пор и вошла в душу очарованность и осталась. И жить без нее я уже не мог. А уж потом пришла и поэзия. Ведь жизнь, сколько бы ты не прожил, измеряется не годами, а мгновениями счастья. А очарованность так похожа на счастье, а может даже оно и есть. Ведь душа, как струна, ждет свою музыку. А поиск себя разве это не поиск своей, только своей музыки, своей песни? И еще это совесть – высочайший полет души к Богу.

И когда рядом рухнет израненный друг

И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,

И когда ты без кожи останешься вдруг,

От того, что убили его, не тебя.

/ Владимир Высоцкий/

Заканчиваю. Ничего нового я, конечно, не сказал, никаких Америк не открыл. Можно было и не читать. А вот это прочтите пожалуйста. Очень вас прошу. Обещаю – не пожалеете.

А что еще нужно душе?

Немного любви и тревоги,

Немного листвы на дороге

И ветра в сухом камыше.

Но главное – это печаль,

Как тихое, кроткое море,

Как музыка в Домском соборе,

Когда забывается горе

И кажется жизни не жаль.

/ Анатолий Жигулин./

Великая литература, великая поэзия, великая музыка. Нет без них души, нет жизни, нет Человека.

Рассказы

Дразнилка

Сны он не любил. Все он были навязчиво-тупиковыми. Куда-то он не успевал, куда-то не попадал, что-то не получалось. Надвигалось безнадежно, безвыходно, крутилось одно и то же, одно и то же пока не просыпался. Со временем он привык. Тупиковые, так тупиковые. В конце концов, это же только сны. Но этот был совсем другой. – Жид, жид по веревочке бежит. А веревка лопнула и жида прихлопнула. – Где-то он уже это слышал. Но где, когда? И не мог вспомнить. И это мучило. Знал: не отпустит пока не вспомнит. В конце концов он всегда вспоминал. Иначе он просто не мог. И он вспомнил. Конечно, это было тогда, в далеком сибирском городе, куда они убежали от войны. В детском саду. Дразнили его. Всегда только его, а он не понимал почему? – Мама, а что такое жид? – спросил он дома. Мать не ответила, но как-то странно посмотрела на него и быстро вышла. А когда вернулась, глаза у нее были почему-то красные, как будто она только что плакала. И ему было жалко ее. Ведь она была такая красивая! Самая красивая мама на свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/zamskiy_mihail/itog

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити